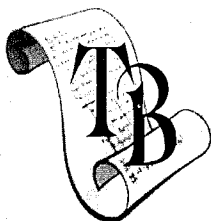


Учреждение Российской академии наук
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Институт русской литературы (Пушкинский Дом)

**РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
XX ВЕКА**

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕМЕННИК

**ВОПРОСЫ ТЕКСТОЛОГИИ
И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ**



МОСКВА — 2009

ББК 83.3(2рос-рус)
Т307

*Основатель издания — Текстологическая комиссия секции языка
и литературы ОИФН РАН*

*Издание подготовлено при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований*

Ответственный редактор — *Н. В. Корниенко*

Редколлегия:

*Быстрова О. В., Воронцова Г. Н., Галушкин А. Ю., Грачева А. М.,
Матевосян Е. Р., Полонский В. В., Рожнецова Е. А. (ученый секретарь),
Терехина В. Н., Трубилова Е. М., Тюрина Е. А. (ученый секретарь),
Шубникова-Гусева Н. И.*

Рецензенты:

Гачева А. Г., Смирнов В. П.

Т307 ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕМЕННОК. Русская литература XX века: Вопросы текстологии и источниковедения. — М.: ИМЛИ РАН, 2009. — 768 с.

Основу первого «Текстологического временника» составляют материалы Международного текстологического семинара, посвященного разным аспектам источниковедческих и текстологических исследований русской литературы XX в. Представлены направления и результаты работы отечественных текстологов, участвующих в подготовке научных Собраний сочинений, серии РАН «Литературные памятники», Хроники литературной жизни советской России; дан анализ современного состояния изданий классиков русской литературы XX в.; предложены текстологические досье писателей, опыты реального комментария и описания архивных фондов.

Вниманию читателей предлагаются исследования, основанные на новых архивных материалах, представляющих уникальные документы жизни и творчества русских писателей первой половины XX в.

Издание адресовано филологам и историкам, преподавателям и студентам — всем, интересующимся историей русской литературы XX в.

Валерий Вьюгин (Санкт-Петербург)

ИДЕАЛЬНАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ

(Несколько замечаний к теории и практике критики текста)

Предлагаемая работа — из разряда «паратекстологических». Можно было бы употребить для ее характеристики приставку «мета-», но это прозвучало бы слишком серьезно. Даже недолгая причастность к текстологической практике убеждает, что ей противопоказано заниматься без иронического взгляда как на объект, так и на «субъект» исследования. Если прав Бергсон, согласно которому смех и комическое служат средством выявлять «механистичность», нежизненность и, следовательно, неистинность, то серьезной критике текста без них тоже не обойтись.

Сказанное не стоит воспринимать лишь как публицистическую приправу к скучноватому повествованию о правилах сличения вариантов и эдичионных принципах. Оно вполне оправдывается историей русской текстологии. Когда логические доводы переставали браться в расчет, достойным аргументом становился именно смех. Эпатажное поведение Б. Томашевского на текстологическом совещании 1954 г. в ИМЛИ, о котором теперь со значением вспоминают [21, 85–86], без особой натяжки можно рассматривать как аргумент филологии против идеологии, интерпретации против организации. Вероятно, «жест» Томашевского можно считать и знаком времени, которое вдруг позволило усмехнуться.

Эта работа по большей части реферативна. Поле для нее в основном служит текстологическая литература прошедшего столетия, прежде всего

русская, хотя и с оглядкой на другие традиции. Ее цель состоит не в том, чтобы очертить эволюцию идей и тем более не их прогрессивное развитие, а очертить *стереотип* и «*архетип*» текстологии, сфокусировав внимание на ее постоянстве и неизменности. Объем (ухватимся за чудесную формулу) позволит нам обратиться лишь к минимуму текстов и проследить судьбу очень немногих концептов. Но, думается, привлекаемого материала достаточно, чтобы высказать основное. Э디션ная сторона дела в той мере, в какой она касается широкого читателя, в рамках работы намеренно игнорируется. Если речь и пойдет о публикациях, то сугубо научного типа. Разделить изучение и просвещение представляется важным, поскольку смешение двух принципиально разных сфер бытования текста и забвение о примате первой приводит к конфликтам, в которых наука почти всегда остается в проигрыше.

Текстология состоялась

В статье 1913 г. «Несколько замечаний к теории и практике критики текста» С. Бугославский писал: «Хотя в принципе методы критики текста достаточно выяснены, все же в деталях, а также в практическом применении они не представляют однообразия. Это обстоятельство и побуждает нас поделиться некоторыми наблюдениями в этой области, главным образом, практического характера» [17, 1]. Речь у Бугославского идет лишь о средневековых памятниках русской литературы, и цитирование контекстуально зависимого высказывания может показаться гиперболически заостренным, но все же, судя по нему, участнику семинария проф. В. Перетца в начале XX в. основные проблемы текстологии представляются решенными настолько, что остается разбираться лишь в частностях.

Сопоставим послышку Бугославского с репликой, принадлежащей совсем иной эпохе. Во вступлении к «Исследовательским аспектам текстологии» А. Гришунин признается: «Предлагаемая работа возникла из глубокого убеждения автора в том, что самодовлеющая текстология невозможна, да и не нужна» [20, 4]. Решительность этого утверждения, конечно, точно так же, как и в случае с Бугославским, размывается материалом всей книги, целью которой в конце концов окажется реабилитация текстологии и возвращение ее «на филологический путь» [20, 367]. Но за всеми языковыми модальностями, и в отдаленном, и в недавнем высказывании видны сходные логические пресуппозиции. При внешней крайности мнений — от обещающе позитивного отношения к текстологии до оптимистически отрицающего, — они оба сводимы к единому основанию: программа дисциплины в ее чистоте выполнена, по крайней мере по существу.

Конечно, нельзя свести историю текстологического знания XX в. к высказываниям двух исследователей: отнесемся к ним лишь как к точкам зрения людей, достаточно опытных в своей области, чтобы зафиксировать, хотя и не единственную, но важную, тенденцию.

Тривиальная стемма

Не претендуя на теоретическую оригинальность, Бугославский использует в своей работе вполне привычный по тому времени критический инструментарий. В основе его методики лежит выстраивание стеммы с целью восстановить архетип или текст, приближенный к оригиналу. В процессе анализа списки сравниваются для выявления общих мест и расхождений и на этой базе классифицируются. В основу сравнения и издания кладется текст одного из списков. Преимущество отдается тому, который наиболее типичен и прагматически целесообразен, чтобы меньше приводить вариантов. Основной текст, согласно этому, дает старший список, содержащий типичный текст.

Начиная с систематических опытов К. Лахмана, выстраивание «деревьев» в разных вариантах явилось, пожалуй, самой распространенной техникой при исследовании сначала древних, а затем и новых текстов. Интерес к ней до сих пор не угас. Хотя четкое изложение стемматического метода в европейской традиции приписывают чаще всего П. Маасу, чья работа, посвященная ему, впервые была опубликована в 1927 г. [10], для русских текстологов, как мы видим, он отнюдь не был секретом и ранее.

Кризис текстологии

Д. Лихачев в «Текстологии (На материале русской литературы X–XVII вв.)», присоединяясь к противникам К. Лахмана, из влияния лахманских идей выводил «затяжной кризис» западной текстологии [23, 6]. Не секрет, что представление о «кризисе» всегда относительно. Ведь он означает возможность тотальной смены существующей и устаревающей научной парадигмы. Незадолго до монографии Лихачева выходят весьма известные лекции Ф. Боуэrsa «Текстуальная и литературная критика» [3] и читаются в 1959 г. его же лекции «Библиография и критика текста» [1]. Годом ранее переводится на английский П. Маас [11]. Несколько ранее выходит важная «Проблема издания Шекспира» У. Грегга [6], а в 1939 г. публикуются «Пролегомены к Оксфордскому Шекспиру» Р. МакКерроу [12]... Даже это отрывочное перечисление имен, большей частью англоязычных, подтверждает, что столкновений точек зрения, попыток понять и высказать нечто значимое о тексте *там* было не меньше чем *здесь*, в СССР.

«Сублимация» (возвышение) текстологии

Главный упрек, предъявляемый Лихачевым стемматической критике, выражался с помощью эпитетов «механический» и «антиисторический». Правда, критикуя Лахмана, Лихачев не дает анализа собственно лахманских работ, сосредоточивая все внимание на последовавшей бурной поле-

мике вокруг них. Именно в таком контексте проявляет себя негативная оценка методов «подсчета» ошибок и повторяющихся мест¹. Защищать метод Лахмана не имеет смысла, как и утверждать, что он достаточен². Важнее другое — при всем отрицании позиций стемматической школы Д. Лихачев не уходит от основного в лахманском способе представления связей между текстами — стеммы как таковой. Разночтения и сходства, что понятно, для него тоже важны:

«Только восстанавливая общий ближайший протограф нескольких сохранившихся списков, мы можем отбросить те или иные удачные чтения одного списка как индивидуальные; однако этими “индивидуальными” чтениями могут оказаться далеко не все те, которые встречаются только в данном списке. Даже при восстановлении ближайшего протографа списков невозможно опираться на механические приемы исследования списков и считать, что показания одного списка, противоположные показаниям нескольких списков, должны быть сброшены со счетов» [23, 19].

Не требуется фундаментальной деконструкции данного высказывания, чтобы увидеть, как само использование терминов «списки», «ближайший протограф», «восстановление» эксплицирует всю ту же иерархическую, если не историческую в лихачевском смысле, то уж точно хронологически значимую структуру — стемму, которая, что нельзя отрицать, все же моделирует последовательность возникновения вариантов текста³. Метафора «дерева» оказывается крайне удобной для объяснения самых разных явлений, отнюдь не только из мира литературы⁴. Другое дело, что для Лихачева оказываются недостаточными имманентные, первичные признаки текстов, благодаря которым тексты, обнаруживаемые в разных физических фиксациях, различаются. Необходимо, следуя его мысли, масштабное расширение контекста исследования или, иначе, поля текстологии. Это расширение и означает «историзм», по Лихачеву:

«Итак, в текстологических исследованиях памятников древнерусской литературы советские текстологи стремятся за внешними особенностями текста отдельных списков найти их историческое (в широком смысле) объяснение. Реальная история текстов — *история, понимаемая как история людей* (курсив мой. — В. В.), создававших этот текст, а не как имманентное движение списков в их разночтениях, — таково то основное, что привлекает советских текстологов-медиевистов в первую очередь. Один из основных принципов советской текстологии состоит в том, что ни один текстологический факт не может быть использован, пока ему не дано объяснения. Нет текстологических фактов вне их истолкования» [23, 51].

Безусловно, нет фактов без истолкования, однако этот общий принцип не связан с попыткой расширить «текстологию» до истории культуры (истории людей⁵ и даже классовой борьбы)⁶, которую предлагает Лихачев. Ситуация «возвышения» скромной подсобной текстологии до уровня большой филологии может быть прочитана двояко. Либо для текстологии вспо-

могательными оказываются все остальные гуманитарные и даже технические дисциплины, и тогда она удерживается в рамках своего изначально-го предмета⁷, оставаясь критикой текста, приемы которой в сущности уже известны. Либо она растворяется в «большой филологии» и истории культуры⁸.

Но все же есть разница между изучением трансмиссии текста и истории контекста.

Трансмиссия текста и история культуры

Изучение текстов во «внетекстовом контексте» не новость. Шлецер — вопреки тому, что Лихачев при анализе его взглядов делает акцент на идее порчи рукописей переписчиками и равноправии списков при их сличении⁹, — признает крайне значимым и время и окружение, в которых возникает текст, к которому относится его материальный носитель и в которых живет тот, кто текст записывает. Не будучи первооткрывателем, он, в частности, делит работу по исследованию-изданию памятника на два важных этапа: создание свода из списков и выявление «очищенного текста». «Свод, — говоря о тексте Нестора, отмечает он, — в случае нужды может сделать и неученый человек, если только будет иметь прилежание и отменную точность. <...> Такой *свод* я очень отличаю от *очищенного* Нестора, которого из *свода* может составить только искусный в **истории** (полужирный шрифт мой. — В. В.) человек» [31, 413]. Другое дело, что история выступает для Шлецера на данном этапе его работы как «вспомогание» текстологии, при том что конечная цель обратна. Из утилитарных соображений исследователь, претендующий на создание всемирной истории, снисходит до нудных и действительно механических задач.

Если же, вспоминая Шлецера, вернуться к сравнению точек зрения на русскую текстологию, не менее интересна следующая его оценка: «Вообще, нельзя теперь требовать от Русских испытателей истории того, чего можно требовать от издателей древних памятников в *таких* землях, где уже несколько сот лет знакомы с *ученою* критикою» [31, XVI]. При том что, как говорит Шлецер чуть далее: «...и *Нестор* должен подвергнуться *трем* различным операциям, известным каждому понятному ученику в критике» [31, 395]. Исходя из сказанного, приблизительно за век добротная текстология в России стала нормой, которую фиксировал в свое время Бугославский.

Более того (и здесь есть смысл, наконец, забыть о противопоставлении запада и востока), создается устойчивое впечатление, что при множестве нюансов, ничего *критически* нового не было сказано о приемах критики текста в собственных рамках филологии с тех пор и по крайней мере до момента ее прикладной информатизации. А если вспомнить, что сам процесс критики текста по-прежнему распадается на логические стадии, вполне описываемые латинскими терминами «*recensio*», «*examinatio*», «*divinatio*»,

картина «déjàvu» станет еще более красочной: без того, что стоит за ними, трудно обойтись даже самой новейшей текстологии.

Говоря же о постоянстве в текстологии Нового времени, уместно привести, например, высказывание Ф. Боуэrsa: «Ясно, что ни в Англии, ни в Америке с 1860-х гг. не появилось нового авторитета, о котором можно было бы сказать, что он имеет силу окончательного подхода к тексту, приносящего результаты, которые получили такое же всеобщее одобрение, как Старое Кембриджское издание в его время и позже» [3, 69]. Ф. Боуэрс приводит вслед за тем доводы, способные обнадежить скорыми успехами обновленной послевоенной текстологии, но они — всего лишь проект и превосхищают еще не наступившее на момент высказывания будущее.

Консервативная текстология

Вернемся к консервативным задачам текстологии вне ее экспансивных устремлений.

Работа Поля Мааса, одного из последователей Карла Лахмана, появившаяся в 1927 г., представляет собой практическое руководство по «стемматической» текстологии. Формулировки Мааса точны и директивны. Они как бы задают матрицу, которую довольно легко набросить на кажущийся разнородным текстологический материал, классифицировать его и установить взаимоотношения между списками, копиями и т. п. «Дело критики текста состоит в том, чтобы воспроизводить текст как можно ближе к оригиналу (*constitutio textus*)» [10, 1], — пишет П. Маас, намечая своим предметом прежде всего греческие и римские автографы-манускрипты, которыми наука не располагает.

Ф. Боуэрс, увлеченный апологией текстологии и библиографии перед «большой» критикой, пишет: «Я не говорю, как ученый-классик Джон Бурнет: “По общему согласию, конституирование авторского текста есть высшая цель, которую ученый может поставить перед собой”. Но я утверждаю, что установление текстов наших литературных и исторических документов и сохранность их чистоты сквозь последующий процесс трансмиссии, является задачей для глубокого ученого, а не занятием свободных часов любителя или монотонной работой педанта» [3, 10].

По столкновению двух взглядов на существо текстологии можно заметить, как постепенно от категоричности Бурнета до более пластичного консерватизма Боуэrsa границы узкого поля филологической критики текста становятся менее защищенными, и пограничные столбы расшатываются в восприятии — что для нас особенно важно — самих текстологов-практиков. Именно в этом процессе разделения ведь и происходит осознание предмета и немногочисленных главных принципов «малой критики», в центре которой остается проблема оригинала или авторского текста.

Знаменитая работа У. Грега (доклад 1949 г. и статья 1950 г.) «Рационализация “копи-текста”», в которой он обсуждает не только само понятие

«копи-текста», но и свои более ранние опыты в формальном «вычислении вариантов», существенно ограничивая возможность последнего, оставляет целью все тот же текст, близкий к оригиналу. Но понятие «копи-текста» было введено МакКерроу еще в 1904 г., и по его поводу Грег пишет что-то уже очень узнаваемое: «Когда в своем издании Нэйша МакКерроу выдвинул термин “копи-текст”, он только дал имя концепту, уже знакомому, и он использовал его в общем смысле, чтобы обозначить тот ранний текст произведения, который выбрал редактор в качестве основы» (5, 19). Хотя Грег в своей статье будет уточнять термин, отмечая, что и сам МакКерроу предпринимал такие попытки, в целом суть подхода с тех и до сих пор не слишком изменилась¹⁰.

В 1928 г. в России выходит «Писатель и книга» Б. Томашевского с подзаголовком «Очерк текстологии». По поводу новаторства работы много позже выскажется С. Рейсер: «Слово текстология сравнительно недавнего происхождения. Оно получило права гражданства приблизительно в середине 1930-х гг. и едва ли не впервые было введено Б. Томашевским в курс, прочитанный им в 1926/27 учебном году в Институте истории искусств в Ленинграде» [29, 3]. Но у самого Томашевского читаем: «...в современной филологии выработалась некоторая система приемов критики текста, отчасти перенесенная из опыта изучения древних памятников, отчасти обусловленная своеобразием нового материала. Эту систему филологических приемов принято обозначать словом “текстология” (курсив мой.— В. В.)» [30, 11]. Какие бы ни существовали в истории слова нюансы, Томашевский не относится к нему как к новому; ему важнее подчеркнуть признанность термина. Томашевский доказывает релевантность критики текста применительно к новой литературе, но в отношении к определению границ дисциплины он очень консервативен:

«Текстология не есть специальная наука; скорей это некоторый метод, некоторое научное орудие, при помощи которого наука добывает необходимые ей данные» [30, 11].

И, конечно, «Текстология» Д. Лихачева выглядит реакцией на такое «узкое» понимание задач критики текста¹¹.

В переносе внимания на новую литературу Томашевский¹² делает, по сути, лишь одну определяющую замену. История текста, которая в литературе древней и Нового времени (той, что не оставляла после себя автографов) распространена была по векам и «копиям», либо рукописным, либо печатным, теперь сжалась до времени работы одного-единственного автора, который является в то же время и своим собственным «переписчиком». Его творческий подход к оригиналу в принципе мало отличается от собственного переписчикам древних книг, как его видел Лихачев. Понятно, что издательский процесс, отношения с культурной средой, институтом редакторства или цензорства, так же важны, но эта часть истории текста в данном случае лишь приурочена к «допубличной». Главное заключается в

том, что наличие автографа и внимание к нему не поменяли отношений внутри самой модели «истории текста». Выбор «копи-текста», «основного текста» все равно будет волновать исследователя и издателя, а при его установлении будут использоваться приемы, подобные тем, к которым прибегали в том или ином виде многие:

«Всякий черновик представляет сочетание двух явлений: 1) какого-то достигнутого результата и 2) творческого пути, которым автор к этому результату подошел.

Таким образом изучение черновика сводится к выделению из него “основного текста” и к установлению тех изменений в словесной ткани, которые совершались вокруг этого основного текста. <...>

Во всяком случае, последовательность вариантов и степень их взаимной связанности — вот руководящие вопросы в анализе черновика» [Томашевский; 30, 103, 107].

Можно рассуждать о частностях и способах представления чернового материала для публикации, отвергая одни, склоняясь к другим, но все равно, «основной текст», «последовательность и связность вариантов» (генетический граф, стемма) не могут быть вычеркнуты из логики текстологического исследования.

Для текста новой литературы в «корне» или «корнях» пресловутого «дерева» вариантов на месте оригинала оказывается замысел или авторская интенция во всей ее неопределенности и эфемерности. От нее расходятся ветви авторских версий, включая редакции наряду с правкой минимальных синтагм, чтобы оборваться в момент, когда автор оставит работу. При воссоздании истории нового текста различные издания без авторизации лишь продолжают ветвление стеммы, но они, видимо, будут менее интересны для текстолога, располагающего автографами и авторизованными материалами. Поставленный в корень замысел функционально мало отличается от утраченного оригинала какого-нибудь древнего текста. Оба они реконструируются. Оба — лишь идеальны.

После сопоставления текстологических деклараций, относящихся к разным временам и выявляющих постоянство «проблемного ядра», не кажется странным, что полемика текстологов подчас вносит меньше нового, чем можно было бы ожидать. Не удивительно, если обратиться к положению, сложившемуся к середине прошлого века в СССР, что в известной статье В. Нечаевой, остро реагирующей на позицию Томашевского, нет практически ничего нового в осмыслении приемов текстологии, кроме отрицания самой мысли Томашевского о том, что текстология представляет собой сумму таких приемов. В этом «споре» бессмысленно вставать на чью-либо сторону. Практика сама расставляет вещи на места. Однако разбор аргументации В. Нечаевой представляется значимым, поскольку он высвечивает риторическую стратегию, с помощью которой утверждается «канон» советской текстологии. Вот цитата, концептуально периферийная, но прекрасно демонстрирующая логику опровержения:

«<...> выступление Б. Томашевского <...>, показывает, что он остается на пре-

жних позициях, отрицая возможность разработки теоретических принципов текстологии и продолжая сводить текстологию к совокупности практических навыков.

<...> мы принуждены обращаться к его ранним работам, где приведены теоретические предпосылки тех утверждений, которым он остается верен и в настоящее время» [Нечаева; 26, 34].

С одной стороны, по мнению В. Нечаевой, Томашевский отрицает возможность разработки *теоретических* принципов, а с другой — В. Нечаева оспаривает *теоретические* предпосылки взглядов Томашевского на текстологию как на прикладную дисциплину. Оппонент хрестоматийно отрицает то, что протагонистом в действительности и не утверждалось.

Главное столкновение происходит в вопросе о «природе» автора текста литературного произведения и его «воли». Бесспорно, теоретические представления текстологов в данном случае совершенно несовместимы — их даже сравнивать сложно, не то что противопоставлять. Но в том, что касается сугубо текстологической проблематики, они, как и следует ожидать, выглядят схожими:

«Советский текстолог не может представлять себе автора, как “орудие” для использования литературных форм и традиций. <...> Он понимает творческий процесс автора, как процесс, направляемый сознательной волей и устремленный к поставленной писателем цели. Руководясь своей эстетической системой, автор ищет наиболее полного выражения своего замысла» [Нечаева; 26, 36].

Благодаря первой фразе оппонент В. Нечаевой выводится из состава «советских текстологов». Вместе с этим ему приписывается тезис о «безволии» автора. А далее следует повторение из Томашевского, который в своей книге отводит немало места движению от замысла до завершающего воплощения, правда, в гораздо большей степени его формализуя, т. е. делая различенным и четким, — перед нами случай *argumentum ambiguum*. В пренебрежении же «телеологичностью» (что явствует и из приведенной выше цитаты Томашевского), влиянием поэтической или эстетической систем Томашевского вообще сложно упрекнуть.

Новшеством оказывается нарочитое «обязывание» текстологов вырабатывать «канонический», узаконненный текст произведения. Но, во-первых, в таком понимании канонический текст — явление скорее идеологического порядка, а не научного. Он прежде всего призван регламентировать распространение информации: «Такой единый окончательный текст мы в дальнейшем называем каноническим, подчеркивая этим названием его обязательность и необходимость ограждать его от произвольных редакторских изменений» [Нечаева; 26, 23]. А во-вторых — за ним стоит идея все того же традиционного основного текста, из которого и вырабатывается «самый лучший», «правильный», отправляемый далее читателю.

Существует версия о том, что термину «канонический» в данном случае текстология обязана Сталину¹³. Однако ясно, что и без воли вождя он

был довольно популярен не только в библиистике, но и в текстологии новой литературы (канон Шекспира, например).

Технический термин «основной текст», призванный, казалось бы, показать, что именно этот, а никакой другой текст берется, чтобы относительно него демонстрировать остальные варианты, уравнивается с «окончательным текстом», в силу этого канонизируется и, как следствие, должен быть утвержден особой текстологической комиссией. Понятно, почему выступление Томашевского по поводу таких идей на текстологическом совещании 1954 г. в ИМЛИ «не содержало каких-либо конструктивных предложений. С его точки зрения, текстология — лишь вспомогательная дисциплина, совокупность практических навыков. Резкие возражения со стороны Б. Томашевского вызвали и понятие “канонического текста”, в котором якобы есть отзвук чего-то религиозного и принцип “авторской воли”, якобы не поддающейся реализации» [28, 394]¹⁴. Но опять-таки если оставить в стороне институциональный аспект, связанный с канонизацией текста, в выдвинутой В. Нечаевой «программе» решительно нет ничего нового.

«Инструктивность» присуща текстологии. Это удобно в силу практической направленности дисциплины, и текстологи время от времени формулируют «правила» издания и исследования (*lectio difficilior lectio potior, lectio brevior lectio potior...*). В 1942 г. так поступает У. Грег в весьма влиятельной работе «Проблема издания Шекспира» [6]. В его размышлениях присутствует и понятие основного текста (базового) и понятие «последнего намерения» («the author's final intention») [6, XI], кореллирующего с «последней волей», но совсем ей не тождественного¹⁵. Первое правило Грега таково: «Цель критического издания должна заключаться в том, чтобы представить текст, насколько позволяют доступные свидетельства, в форме, в которой, как мы можем предполагать, он присутствовал в чистовой копии произведения, сделанной самим автором, как он в конечном счете предполагал это (*as he finally intended it*)» [6, X]¹⁶. Исходя из ситуации с наследием Шекспира, Грег находит такой текст гипотетическим, поскольку он попросту не существует. Видя необходимость конъектуры, Грег предельно осторожен в выводах. Относясь к такому тексту как к реконструкции, он стремится раскрыть посылки, на основании которых строится издание текста. Его научная теория в отношении данного текста открыта для критики. Вопрос о тексте не решается голосованием и не утверждается институционально, «комиссией».

Текстологический постструктурализм

Может вызвать улыбку мысль о том, что Д. Лихачев каким-то образом причастен к постструктурализму. Однако в одном важном аспекте ее все же можно усмотреть. Речь идет о концепте автора, фундаментальном и болезненно дискутируемом в XX в. В подходе, который выражен «боль-

шой» текстологией Лихачева, сказывается и характер материала и предмет, избираемый для анализа. Факт, что тексты древнерусской литературы писались (переписывались) «коллективно», содержит в себе потенцию «раздробленного» авторства. Шлецеровский «Нестор» един, статичен. Лихачевский — дробен, авторство процессуально и растворено самим временем, историей текста и произведения.

Конечно, здесь нужны серьезные оговорки. Трудно представить, что избранная стратегия осмыслялась самим исследователем в очерченном ключе: постструктурализма советская наука не знала, и в данном отношении показателен ответ Д. Лихачева на статью С. Азбелева «Текстология как вспомогательная историческая дисциплина» [16].

«Различия между текстологом-историком и текстологом-литературоведом сказываются, например, в отношении к понятию “канонический текст”. Канонизация текста противоречила бы духу исторического исследования. Мы не имеем права объявлять тот или иной текст исторического источника каноническим, стабильным, так как это выключило бы его из источниковедческого анализа. Историк не может исследовать памятник как исторический источник, текст которого “установлен” кем-то другим и не подлежит пересмотру. Исторический подход требует возможности ясно представлять себе не статику текста, а его динамику. Динамика текста вскрывает намерения автора, раскрывает его тенденции. Между тем подход к памятнику как к художественному произведению требует обратного — его стабилизации, законченности.

При изучении литературного памятника текстолог должен вскрыть эстетическую систему произведения и принимать ее во внимание при выборе текста, в определении основного чтения, при изучении разночтений, вариантов и т. д.

Различия в подходе к литературному тексту и к историческому документу сказываются и в применении к ним принципа “последней авторской воли”. Для историка этот принцип не играет той существенной роли, которую он играет для текстолога-литературоведа. Все эти различия действительны и для древней русской литературы, хотя практически принимаются в расчет в текстологических исследованиях ее реже, чем в текстологических исследованиях новой литературы» [Лихачев; 25, 231].

В этой обширной цитате собраны два ряда понятий. Статические «канонический текст» и «последняя авторская воля», с одной стороны; динамика текста и история — с другой. С их помощью историческое исследование противопоставлено литературоведческому. Первые два понятия вписаны в контекст, почти точно повторяющий декларацию В. Нечаевой. Но ведь сам Лихачев занят не статикой и каноном, а историей, и текста, и произведения: «*История текста произведения* (курсив мой. — В. В.) — это прежде всего история работы над ним древнерусских книжников» [23, 53]. Сама исследовательская интенция — видеть динамику истории — разрушает границы деклараций о статике канона. История текста произведения, у которого *нет единого автора* или которое мыслится вне категории единого автора просто вынуждает вспомнить о Фуко и Барте, еще не произнесших на тот момент своего решительного приговора¹⁷. В СССР, кажется, не было

постструктурализма, но, видимо, гуманитарная мысль идет неким общим путем, даже несмотря на изоляцию и невозможность в определенных условиях себя эксплицировать. «Подвижность» понятия «автор», не говоря уже об «авторской воле» и «каноне», ощущалась с самого начала дискуссий. Оно расшатывалось самой практикой работы с текстом вне зависимости от «лагеря», к которому исследователь склонялся.

Генетическая альтернатива

Казалось бы, генетическая критика совершила переворот в предмете и методе текстологии, отклонившись от цели, каковой был прежде «идеальный» текст. Ее родственность деконструкции даже не надо угадывать. Абсолютизация текстовой динамики не могла не стать методологическим событием уже в силу того вызова, который французская школа бросила, и немецкой критике текста, и англоязычной по обе стороны океана. Не затронутой оказалась советская критика, хотя внимание к рукописям, замыслам, вариантам и редакциям она, безусловно, сохраняла наивысшее. Генетическая критика дала ряд емких понятий, при помощи которых пластичность текста описывается с гораздо большей выразительностью, чем получалось у «традиционной» критики текста. Терминологический аппарат ее используется теперь и вне исследовательской идеологии самой школы. Но генетическая критика даже в самом своем названии не минует противоречий: если речь идет о генезисе, то что порождается и из чего? генезис чего становится предметом анализа и реконструкции в данном случае?

Как бы генетическая критика ни следовала за «письмом» и как бы она ни сопротивлялась поиску «совершенного» текста, ей не остается ничего другого, кроме того чтобы рано или поздно обратиться к границам, отмечающим время и пространство, когда письмо еще или уже невозможно (писатель же не вечно пишет и меняет написанное, в конце концов, он смертен). Сосредоточенность на одной динамике неизменно приводит к логическому уничтожению «текста». Этот парадокс осмыслен генетической критикой. Так, в своей работе «Текст не существует» (Рефлексия по поводу генетической критики) [7] Луис Хай обращает внимание на то, что термин «avant-texte», которым мы обязаны Ж. Бельмену-Ноэлю, породивший по аналогии ряд других (включая «apres-texte», «пост-текст»), вновь разжег старую конфронтацию между понятиями «текст» и «не-текст». А выход из положения предложен такой: чтобы стать текстом, нечто, им еще не ставшее (аван-текст), должно быть опубликовано, должно обрести социальную судьбу, то есть в целом должно быть размещено в традиционной понятийной триаде «автор — произведение — читатель». Конечно, нужно помнить, что каждый из членов триады сам по себе проблематичен, но это проблематика, замечает Хай, несколько иного порядка.

Нет надобности в детальном анализе данной трактовки. Единственное, что сейчас важно — это то, что при всей своей пластичности генетическая

критика упирается, с одной стороны, в замыслы, наброски и вообще во все те документы, которые даже могут не попадать в категорию «аван-текста», а с другой стороны — неизбежно в текст, опубликованный или готовый для публикации.

Первая ситуация получает характерное отражение в изданиях, подобных «Записным книжкам писателей» [8], о которых, наряду с тетрадями и дневниками, Хай пишет как о парадоксальных объектах — *прочитываемых* (посмертно), в то время как появились они для того, чтобы быть *написанными*. В силу своей противоречивой природы они и оказываются столь привлекательными для генетической критики, «мечтающей всякий раз добраться непосредственно до письма, не попадая немедленно в сети текста» [8, 19]. Привлекая подобного рода «зыбкий» материал, генетическая критика стремится избежать текста. Но публикует она в самом примитивном понимании все же тексты (а что еще? всякого рода графика, как бы ни усиливать ее значение, есть лишь приложение к слову писателя, если анализируется именно писательская деятельность).

Вторая ситуация принципиально вообще не выделяет генетическую критику из «традиционной» текстологии, что удачно отражено, например, в названии работы М. Конта, посвященной публикации романов Сартра: «Рукопись, первое издание, “каноническое” издание, осуществленное с согласия автора — чему же верить?» [22]. Оно «архетипично» по используемому набору терминов, как и статья в целом по заявленным проблемам: какой текст выбрать в качестве основного? насколько воля автора является его собственной волей?

Генетическая критика стремится ограничить использование таких терминов, как «вариант» (подвергая соответственно сомнению и «основной текст») или вообще его устранить: «...Области применения классического понятия “вариант” в генетической критике должны быть предельно ограничены. Может быть, следовало бы вообще отказаться от этого термина» [Ferrer, Lebrave; 4, 16]. Но на практике ей по-прежнему трудно без них обойтись, что вполне ею осознается¹⁸: «Однако это понятие имеет долгую жизнь и сохраняется кое-как в практике генетических исследований, вопреки путанице, которую оно за собой влечет, и искажениям, которые оно навязывает документам» [4, 17]. Не вполне спасает положение и попытка использовать новые термины (например, «субституция»), не обремененные, казалось бы, классической филологической наследственностью.

Генетическая критика, конечно, не критика текста в узком смысле слова. Это здание, возводимое на фундаменте критики текста. В отличие от историко-культурного (как, если придерживаться рассмотренного выше, у Лихачева), она порождает свою альтернативную надстройку. Ее важнейшей составляющей является филологическая критика, причем *практически* философствующая. Очевидно, что основным предметом рефлексии для нее оказывается парадокс текучего сознания и фиксирующего его слова. По большому счету, она исследует тот же конфликт, который (это имя вспоминается вновь не случайно) в столь эффектной метафорической форме

предъявил двадцатому веку А. Бергсон: длительность жизни против «кинематографичности» практического научного разума. Но там, где генетическая критика касается публикации текста, она не может избежать вопросов, привычных для прагматической «малой критики»: выявление основного текста и т. п. Она в этот момент просто вынуждена превращать «генотекст» в «фенотекст», разбивая неделимую генетическую историю на типографические кадры.

Отношение генетической критики к «малой критике» воспринимается, скорее, как открытие, а не как изобретение. В нем узнается известное. И в таком выводе нет умаления заслуг, которые несомненны, — есть лишь желание подчеркнуть постоянство базовой текстологической практики. Нет ничего принципиально нового в том, чтобы выделить в качестве объекта описания и реконструкции отдельно историю произведения, замысла, текста, хотя нова и непостоянна абсолютизация этой задачи.

Роль очков в текстологии. Заключение

Мы начали этот беглый обзор сопряжением двух разделенных временем точек зрения, выдающих общность интересов «малой критики», и затем пытались показать, что, несмотря на множество вариаций, вся ее история «игралась» вокруг одной основной темы, вокруг понятия об идеальном тексте, его продуцировании и публикации. Идея «совершенного текста» приобретала разные обличья, проходя через стадии эклектизма, «чистой» стемматологии, «копи-текста», частичной реабилитации эклектизма, утверждения незыблемого канона, заметного соприкосновения с историей культуры, погружения в генезис и нового обращения к помощи стеммы. Вопрос альтернативы касался лишь формы «совершенного текста». За какой из них признать главенство? Или какую предложить взамен старых? На какую обратить внимание других исследователей и какую подарить публике? Сам «совершенный текст» никогда не существовал. Им не располагали филологи-классики, от которых он был закрыт архетипом. Его не имели исследователи Шекспира и Нестора. В определенных случаях он распадался на разные авторства при переписывании. В других — сам автор, оставаясь поэтологической проекцией единой личности, обретал процессуальность и тем самым лишал стабильности, цельности и синхроничности свой текст. Совершенный текст не существовал и не мог существовать, поскольку то, что выходит из-под пера, не совершенно, не целно. Идеальный текст — универсалия, противостоящая реалиям его вариантов, как принадлежащих автору, так и независимых от воли последнего. Его в принципе нельзя воплотить, транскрибировать, отпечатать, потому что он представляет собой логическую и всего лишь логическую сущность, которую можно лишь символически обозначить.

Мысль о том, что текстология занята поиском «идеального» текста, опять-таки несколько не нова. И в том отношении, что она ищет совер-

шенного (со всеми возможными этимологиями: от «лучшего» до «окончательного»). И в том, что ее задача — предъявлять тексты в их материальности, несовершенстве и незавершенности. Как мы видели, основное ядро критики текста действительно очень устойчиво и давно определилось. Ее первая задача в простейшем виде сводится к прочтению слов, установлению их последовательности и выяснению того, что из названного невозможно определить. Эта первая задача, выражаясь метафорически, образует ствол дерева текстологии, от которого отходят самые разные ветви модификаций — крона филологии и истории культуры.

Можно раздвигать понятие текстологии сколь угодно, но все равно филология сохранит представление о дисциплине, чья задача в буквальном смысле фундаментальна и поэтому очень скромна — о критике текста или текстологии в самом узком значении.

Вариативность текстологии поучительна. Из всех упомянутых выше подходов к продуцированию «идеального» текста, принимаемых в одно время и отвергаемых в другое, ни один не забыт современной филологией. Невозможно абсолютно отказаться от эклектизма, удобно иногда прибегать к стемме¹⁹, бывает очень полезна транскрипция²⁰, как и «критический аппарат»... Выбор зависит от конкретной задачи, которую ставит перед собой исследователь, и определяется исследовательской интенцией. Текстология интенциональна в том, что фокусируется на конкретном аспекте текста, и «пред-взята» — потому, что заимствует этот фокус у «большой критики», приоритетов гуманитарной науки в целом, а иногда и непосредственно у идеологии. Признание интенциональности за текстологией позволяет отбросить известный стереотип об особой ее достоверности, исходящей из исключительной близости «факту». Нет сомнений, что, вступая в спор с «большой критикой», текстология выдвигает в качестве аргумента отнюдь не факт как таковой, а ту же интерпретацию, и в этом смысле она не имеет никаких преимуществ перед другими видами знания. Единственное преимущество «малой критики» — сосредоточенность на примитиве, на выяснении слов. Но тем же она и ограничена.

Понятно, что способность «малой критики» осмыслять тексты и предъявлять результаты в гораздо большей степени, чем присуще «большой», зависит от внешних, не собственно филологических технологий. Изобретение лучших способов печати, техник распознавания слов (от очков и лупы до современного сканера с последней графической программой) дает возможность получить и обнародовать большее количество информации.

В свое время Шлецер восхищался способностью одного из предшественников сводить вместе на малом пространстве множество вариантов. Суть его оценки не связана с экономией бумаги. Она относится к возможности охватить вниманием как можно больше информации, интегрировать ее, чтобы выбрать форму идеального текста, которая больше всего пригодна для исследователя и его задачи.

Ирония современной ситуации в текстологии состоит в том, что информационные технологии впервые позволяют сделать немислимое преж-

де: совместить *все* противоборствующие точки зрения на текст. В идеальном кибернетическом пространстве легко объединить *все* известные техники представлений единого текстового артефакта, начиная с плоских копий и трехмерных изображений, добавляя к нему транскрипцию, выстраивая рядом генетическую стемму и давая возможность читателю самому выбрать, какой слой текста будет принят за основной в данный момент; можно, наконец, механически «посчитать» варианты при помощи разных алгоритмов и «поверить» результаты, прибегая к здравому смыслу, традиционным приемам критики и чутью филолога²¹.

От привычной формы публикации нельзя отказаться. У бумаги есть свои неоспоримые преимущества — от того, что текст на ней трудно изменить, до элементарной привычки читать с листа. Однако при моделировании «идеального текста» традиционная публикация, по логике вещей, должна занять место производной. «Идеальный текст» современной текстологии видится совокупностью всех материалов, относящихся к нему, и одновременно эвристически экономичной совокупностью всех известных способов его представить. Такая полиморфность возможна в цифровом пространстве, которое, впрочем, нельзя рассматривать иначе как еще один, пусть и более совершенный, носитель информации, средство ее передачи. Ничто не заменит самого способа мыслить филологически.

Текстологи представляют особый разряд исследователей, который всегда имеет элементарное институциональное преимущество перед остальными: непосредственный доступ к архивам. Оно кардинально. Текстолог-архивист — фильтр, пропускающий через себя информацию и создающий первичную картинку для «большой критики», которая в данном отношении и в самом деле беспомощна. Но ограничения, накладываемые естественной и объяснимой дисциплинарной специализацией, теперь легче устранишь, извлекая пользу из новых «очков» информационных технологий. В идеале миссия скромной дисциплины видится — раз не уйти от «руководящих» правил — в осуществлении трех принципов, по сути своей эдических: наибольшая доступность, наивозможная полиморфность, эпистемологическая экономичность. Как реализовать их на практике и какие при самых благих намерениях при этом возникнут затруднения — особая проблема.

Примечания

¹ В предисловии к тому же «Der Nibelunge Noth und die Klage» Лахмана сложно увидеть что-либо более опасное, чем здоровое стремление структурировать списки, анализируя сходства и различия между ними, чтобы выявить самый древний из них, а затем, основываясь на этом, указать «отклонения» и «наслоения» в отношении к древнему тексту (речь идет не о реализации, которая может быть оценена только специалистами и до сих пор дискутируется, а о принципе).

² Оценка У. Грега, здесь может быть очень показательной: «Генеалогический метод был величайшим успехом, когда-либо достигнутым в этой сфере, но введение его происходило не без ошибок. За отсутствием логического анализа он вел, благодаря его (Лихачева.— В. В.) менее пронизательным сторонникам, к попытке редуцировать критику текста к своду механических правил» [5].

³ Собственно «лояльность» к стемме как таковой выражена и в «малой» «Текстологии» Лихачева 1964 г., где ей отведен небольшой раздел [24, 48].

⁴ Достаточно сказать, что одна из доминирующих в настоящее время «антигуманных» компьютерных технологий, «объектно-ориентированное программирование», используя так называемый «принцип наследования», основывается на ней.

⁵ «История текста — есть прежде всего история создателей этого текста» [Лихачев; 23, 48].

⁶ «Итак, текстология изучает историю текста произведения; история текста произведения должна пониматься как создание людей — авторов, редакторов, переписчиков, читателей, заказчиков. В таком виде история текста оказывается связанной с историей общества, история же общества предстает для исследователя-марксиста как история классовой борьбы» [23, 52].

⁷ Такая точка зрения типична. Об этом, например, пишет и В. Перетц в своем «Кратком очерке методологии истории русской литературы» (пособии для преподавателей, студентов и для самообразования) в разделе «Вспомогательные науки»: «История. Историк литературы не может и не должен замыкаться в пределах своей области, забывая об истории культуры в широком смысле слова» [27, 57]. Ее же воспроизводит и Б. Эйхенбаум в своем проспекте книги «Основы текстологии» в 1953 г.: «Для правильной текстологической работы необходима методика, опирающаяся на теорию и включающая знакомство с целым рядом научных дисциплин (история литературы, языкознание, теория стиха и проч.)» [32, 42].

⁸ Последнее «прочтение», кстати говоря, мало отличается от итога, к которому, ссылаясь на «историзм» Лихачева, приходит в «Исследовательских аспектах...» Гришунин.

⁹ Трактовка деятельности Шлецера, данная Лихачевым, кажется спорной. Шлецер имел перед собой самую что ни на есть практическую задачу — восстановить русскую историю. Ему крайне важно установить первоначальное несторово свидетельство об этой истории. С данной, в буквальном и традиционном смысле «исторической», точки зрения все, что мешает добраться до свидетельства, представляется «порчей». Лихачев относится к тем же текстам как к памятнику культуры и некоему отражению русской книжной ментальности во всей ее изменчивости. Каждая деталь и каждый временной срез важен. История здесь, скорее, выглядит произведением искусства, которое создавалось на протяжении веков многими авторами. При таком взгляде действительно не важно, сохраняет ли некое слово или фрагмент референцию к изначальной исторической реальности.

¹⁰ В первоначальном виде МакКерроу использовал понятие копи-текста, «чтобы обозначить текст, используемый в каждом особенном случае как основа» [«the text used in each particular case as the basis of mine»] [13, XI].

¹¹ Или, точнее говоря, на выраженную в ней позицию, поскольку ее придерживался не только Томашевский. Вспомним еще раз, что в 1962 г. был опубликован проспект книги Эйхенбаума, где автор утверждал: «Текстология — практическая область литературоведения, теснейшим образом связанная с делом издания классиков» [32, 42]; «Итак, перед текстологом, редактирующим сочинения русских классиков, стоят следующие первоочередные задачи: 1) выбор и проверка основного текста и 2) анализ и подготовка к печати других редакций и вариантов» [32, 65].

¹² Косвенно ссылаясь на приведенную в библиографии «Критику текста и технику издания новых рукописей» Г. Витковского [15].

¹³ «Но возник вопрос: каким все-таки должен быть издаваемый текст? За ответом обратились к Сталину <...> По свидетельству очевидцев, он ответил замечательно просто: «Давайте канонический текст»» [21, 83]. Автор статьи ссылается на протокол выступления С. Макашина.

¹⁴ Эйхенбаум в 1953 г. записал по поводу «основного текста» и «авторской воли»: «Основным текстом произведения, вообще говоря, должен считаться тот, который был напечатан в последнем прижизненном издании. В самом деле: если произведение в большинстве случаев подвергается при жизни автора различным превращениям и превратностям, то естественно брать в качестве основного («окончательного») последний авторский текст.

Старые текстологи любили при этом выдвигать юридическое понятие «последней воли автора»; мы считаем его лишним и даже неуместным, запутывающим дело. Литературное произведение нельзя приравнивать ни к «духовному завещанию», ни к предметам личной собственности: оно — скорее собственность народа, чем автора. И при этом «последняя воля автора» в отношении текста своих сочинений (как и первая) остается обычно неизвестной. Да и что может значить эта воображаемая «воля», когда она, прежде всего, парализована всякого рода цензурными запрещениями? Дело вовсе не в «последней воле автора», а в простой логике: *раз автор менял печатный текст своего произведения, то надо считать основным тот, который появился последним при его жизни*» [32, 65].

Определяя «основной текст», Эйхенбаум отказывается, что с точки зрения науки вполне справедливо, в релевантности юридическим понятиям и на этом основании отвергает «последнюю волю автора». Однако его отрицание амбивалентно, поскольку исследователь тут же выдвигает другой довод, ведущий к тому же самому результату: к отождествлению «основного» текста с окончательным. Интенция исследователя, несмотря ни на что, латентно связана с канонами — канонами русской советской классики («собственностью народа»), подразумевающим поиск текста, пригодного для широкой публики. Однако почему специалист и самому обыкновенному человеку, должен быть интересен именно последний текст, а, допустим, не первый? Стоит уйти в прошлое эпохе, породившей канон, и этот вопрос перестанет казаться странным.

¹⁵ В русской традиции понятие о «воле автора», именно «воле» актуализируется в связи с проблемой Пушкина и именем М. Гофмана. На него, имея в виду его книгу «Пушкин: Первая глава науки о Пушкине» [19], ссылается Г. Винокур в «Критике поэтического текста»: «Ведь если задача редактора, как то утверждает Гофман, заключается в том, чтобы в редактируемом им издании наиболее полно и совершенно осуществилась и выразилась «художественная воля поэта», то, казалось бы, прежде всего возникает необходимость обнаружить эту волю, найти и прочесть оставленное поэтом художественное завещание» [18, 14].

¹⁶ Параллель этому правилу обнаруживается у МакКерроу в «Пролегоменах к Оксфордскому изданию Шекспира» [12, 6], от которого и отгалкивается Грег.

¹⁷ Надо сказать, что в своей «малой» текстологии Лихачев с завидной ясностью противопоставил свою позицию по поводу «авторской воли» той, которая доминировала на совещании 1954 г. Причем основанием для этого послужила особая концепция авторства, вытекающего из занятий древней литературой, и, соответственно, взглядов на значимость истории текста: «Текстология — наука. Она имеет, как мы уже отметили выше, самостоятельный предмет изучения — историю текста произведений» [24,

7]; «Писатель создает более или менее “парадный” текст и не рассчитывает, чтобы к нему заходили с черного хода, читали его черновики. Все это нарушает текстолог. В этом смысле нарушение авторской воли — исследовательский долг текстолога» [24, 5–6]. Разумеется, помимо этого острого для рассматриваемой ситуации парадокса, Лихачев подвергает понятие «воли автора» и более детальной критике.

¹⁸ Генетическая критика — что, пожалуй, бросается в глаза — вообще и изначально сосредоточена на порождаемых ее исследовательскими предпочтениями сложностях.

¹⁹ Из последних примеров использования этого метода с привлечением новых информационных технологий: «Compression-Based Stemmatology: a Study of the Legend of St. Henry of Finland», подготовленный Teemu Roos, Tuomas Heikkil, Rudi Cilibrasi, Petri Myllymki в хельсинском Институте информационных технологий [14].

²⁰ Сегодня транскрипции успешно публикуются. Однако сравним: Томашеский: «Задача транскрипции — помочь читателю разобраться в автографе» [30, 64]; С. Рейсер: «Современный текстолог не станет прибегать к старой системе транскрипции текстов» [29, 40].

²¹ За генетической критикой здесь, вероятно, первенство, однако совсем не обязательно следовать ее исследовательской стратегии, избирая схожую технику передачи текста.

Литература

1. *Bowers F.* Bibliography and Textual Criticism. Oxford: Clarendon Press, 1964.
2. *Bowers F.* Greg's 'Rationale of Copy-Text' Revisited // *Studies in Bibliography.* 1978. Vol. 31.
3. *Bowers F.* Textual & Literary Criticism. Cambridge: University Press, 1959.
4. *Ferrer D., Lebrave J.-L.* De la variante textuelle au geste d'écriture // *L'Écriture et ses doubles: Genèse et variation textuelle.* Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1991.
5. *Greg W.* Rationale of Copy-Text // *Studies in Bibliography.* 1950–1951. Vol. 3.
6. *Greg W.* The Editorial Problem in Shakespeare: A Survey of the Foundations of the Text. Oxford: Clarendon Press, 1942.
7. *Hay L.* “Le texte n'existe pas”. Reflexions sur la critique genetique // *Poétique.* 1985. № 62.
8. *L'amont de l'écriture // Carnets d'écrivains, tome 1: Hugo, Flaubert, Proust, Valéry, Gide, du Bouchet, Perec (Broche) / sous la direction de Louis Hay.* Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1990.
9. *Lachmann K.* Der Nibelunge Noth und Die Klage. Nach der ältesten Überlieferung, mit Bezeichnung des Unechten und mit den Abweichungen der gemeinen Lesart hrsg. von Karl Lachmann. Berlin, 1878.
10. *Maas P.* Einleitung in die Altertumswissenschaft vol. 2: «Textkritik» Leipzig & Berlin: Teubner, 1927.
11. *Maas P.* Textual Criticism / translated from the German by B. Flower. Oxford: Clarendon Press, 1958.
12. *McKerrow R.* Prolegomena for the Oxford Shakespeare: A Study in Editorial Method. Oxford: Clarendon Press, 1939.
13. *The Works of Thomas Nashe, Vol. I.* 1904.
14. *Roos T., Heikkil T., Cilibrasi R., Myllymki P.* Compression-Based Stemmatology: a Study of the Legend of St. Henry of Finland. Helsinki Institute for Information Technology. 2005. HIIT Technical Reports 2005–3.

15. *Witkowski G.* Textkritik und Editionstechnik neuerer Schriftwerke. Leipzig, 1924.
16. *Азбелев С.* Текстология как вспомогательная историческая дисциплина // История СССР. 1966. № 4.
17. *Бугославский С.* Несколько замечаний к теории и практике критики текста. Чернигов, 1913.
18. *Винокур Г.* Критика поэтического текста. М., 1927.
19. *Гофман М.* Пушкин: Первая глава науки о Пушкине. Пг., 1922.
20. *Гришунин А.* Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998.
21. *Гришунин А.* К переоценке старых заповедей // Книга. Исследования и материалы (Сборник). Вып. 60. М., 1990.
22. *Конта М.* Рукопись, первое издание, «каноническое» издание, осуществленное с согласия автора — чему же верить? // Генетическая критика во Франции: Антология. М., 1999.
23. *Лихачев Д.* Текстология (На материале русской литературы X–XVII вв.). М.; Л., 1962.
24. *Лихачев Д.* Текстология: Краткий очерк. М.; Л., 1964.
25. *Лихачев Д.* По поводу статьи С. Н. Азбелева «Текстология как вспомогательная историческая дисциплина» // История СССР. 1967. № 2.
26. *Нечаева В.* Проблема установления текстов в изданиях литературных произведений XIX и XX веков // Вопросы текстологии. М., 1957.
27. *Перетц В.* Краткий очерк методологии истории русской литературы (Пособие для преподавателей, студентов и для самообразования). Пг., 1922.
28. Сопровождение по вопросам текстологии (Хроника) // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. Т. XIII. Вып. 4. М., 1954.
29. *Рейсер С.* Основы текстологии. Л., 1978.
30. *Томашевский Б.* Писатель и книга: Очерк текстологии. Л., 1928.
31. Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные А. Л. Шлецером. Ч. 1. СПб., 1809.
32. *Эйхенбаум Б.* Основы текстологии // Редактор и книга. Вып. 3. М., 1962.